

Ушедший в лермонтовском возрасте поэт Борис Рыжий (его творчество — столь заметное явление, что нелепо было бы ограничиться выражением ««екатеринбургский» или «уральский» автор»), оставил после себя более тысячи стихотворений. Не все они были опубликованы — его наследники и составители включили в вышедшие книги (самые полные — «Оправдание жизни», «Типа песня», «В кварталах дальних и печальных») меньшую часть написанного — не более четырехсот. Но если задаться целью создать более «строгое» избранное — и даже напечатать только лучшие стихотворения, — то количество написанного сократится еще в три-четыре раза. Также, учитывая любовь читателей (Рыжему посвящаются научные работы, конференции, а сейчас идет сбор подписей, чтобы назвать его именем улицу в родном городе поэта), можно вспомнить мнение Сергея Гандлевского, озвученное им во время программы «Школа злословия» (26.09.2005): «Важно не то, как и что написано, а кто написал». То есть, по словам мэтра, первична фигура автора, а не качество стихотворения как такового — действительно, справедливо замечает Игорь Шайтанов в статье «Борис Рыжий: последний советский поэт?» («Арион», 2005, № 3): «В своем поколении он если и не вовсе уникален, то чрезвычайно редок и заметен тем, что создавал не тексты, а — поэтический мир, в котором явился — личностью». Хотя, заметим, при этом более чем хватает авторов, чьи отдельные стихотворения написаны качественнее в смысле версификации, нежели некоторые стихи Рыжего (в особенности — ранние, до 1996 года, стихи «на случай» и т. д.). Авторы тех самых качественных, сильных стихотворений сосчитать не представляется возможным — да и не нужно: важно, что современная русская поэзия многогранна, сложна и богата на имена.

В ряду этих имен — сейчас можно сказать с уверенностью — мы встречаем и поэта Дмитрия Румянцева, ровесника Бориса Рыжего, автора четырех стихотворных сборников, живущего в городе Омске. Эта фигура представляется достаточно загадочной, сложной и незаслуженно обделенной вниманием критиков (известно всего лишь несколько критических отзывов на его творчество)*. Румянцева нельзя назвать активным персонажем так называемой местной «литтусовки», его нечасто можно встретить на культурных мероприятиях, а авторские творческие вечера этого поэта — вообще редкость. При этом он — бесспорный лидер в своем городе по количеству публикаций в «Журнальном зале»: по состоянию на осень 2014 года имеет их двадцать шесть (для сравнения: у Рыжего — двадцать две публикации

* <http://www.srpomsk.ru/463.html>

на этом ресурсе, из них семь — прижизненных). При этом примечательно, что первая публикация стихов Румянцева состоялась в год смерти Рыжего — в 2001 году в журнале «Новая Юность».

Однако нам интересны не сухие статистические выкладки и постоянные отсылки к «Журнальному залу»: мол, у кого больше публикаций — тот и лучший. Дело не в этом: автору статьи представляется, что поэты Рыжий и Румянцев — при всей разности литературного имиджа и принадлежности к разным поэтическим школам (можно сказать, что творчество Рыжего, органически переплавляющее разные поэтики, генеалогически восходит к традиции Гандлевского и Ходасевича в то время как в стихах Румянцева прослеживается влияние таких разных поэтов, как Кушнер и Мандельштам) — в некоторых моментах очень близки.

В данной статье мы коснемся так называемой «школьной» темы. Ее важность трудно переоценить: недаром выдающийся поэт Райнер Мария Рильке считал, что именно в детских годах писатель может черпать вдохновение всю оставшуюся жизнь. Известный психиатр Зигмунд Фрейд считал, что разгадать тайну человеческой души можно, «докопавшись» до драм детства — этот подход весьма популярен и сейчас. Детские и подростковые годы двух рассматриваемых поэтов интересны и с исторической точки зрения — дети 1974 года рождения пошли в школу в предпоследний год правления Брежнева, застав самый «сок» застоя, каждый класс начальной школы ознаменовывался приходом нового генсека, они были первыми пионерами перестройки, и закончили школу в год развала СССР.

Русская поэзия XX — начала XXI веков достаточно богата такими стихотворениями: воспоминания о детских, подростковых годах стали как бы признаком «хорошего тона» в стихах — недаром у «живых классиков» русской поэзии — Чухонцева, Гандлевского, Гандельсмана, Павловой и других — есть целый корпус подобных произведений. У Рыжего таких стихотворений на порядок больше, чем у Румянцева (эта тема — одна из ведущих в его творчестве), но у последнего они отличаются емкостью, плотностью, многосложностью: поэт как будто бы хочет сказать: «Зачем писать несколько об одном и том же, когда можно написать одно, но о многом?» Приводим ниже стихотворение Дмитрия Румянцева «Сад юннатов».

*Собирались. Сбежали с уроков. Шли в стужу, во мрак,
выгнув прутья ограды. И месяц над садом юннатов,
освещающая осеннюю злость, золотил буерак,
где стояли, курили. Где взрослости зоркий анатом,*

*страх, испытывал каждого. Ну? Кулаком и коленом,
и свинчаткой под дых, и разбитым до ссадин лицом.
Кость срастется, синяк заживет. Каково в перемены
под ухмылкой друзей-пересмешиников слыть гордецом?*

*Здесь задачки решались путем перебранок. А в вере
упражнялись до хрипа, до склоки, до первых кровей.
Но металась сова, и лисица кричала в вольере.
И казалось, что жжет на разбитых губах — солоней.*

*И хотелось вот так простоять, улыбаясь паскудно,
никуда не идти, если звезды ползут по скуле,
если здесь, за решеткою сада, глазеешь, как Бруно,
в обжигающий космос: в глазницы печальных зверей.*

Это — пожалуй, самое типичное «школьное» стихотворение Румянцева: обычный, казалось бы, ничем не примечательный школьный эпизод разрастается до огромных масштабов — как государственных («каково в перемены»: намек на перестройку), так и бытийных («глазеешь, как Бруно, в обжигающий космос: в глазницы печальных зверей»). Перестройка, по ощущению поэтов, далеко не ограничивается процессами в неповоротливом советском государстве: здесь это понятие во многом обозначает процесс взросления, выхода из периода детства, который происходил, соответственно, у Румянцева и Рыжего в одно и то же время (разница между датами их рождения — три месяца). Можно привести около десятка подобных примеров в творчестве Рыжего: «Пионеры были предельно злы», «Я, прикуривая, опалил ресницы, / и мне исполнилось десять лет» («1985»), «Но раньше было лучше, чем сейчас» («Я помню все, но многое забыл...»), «Как первые солдаты перестройки...» («Приобретут всеевропейский лоск...»).

Обращает на себя внимание сходство позиций лирических героев — как бы со всеми, но при этом — в одиночку, причем во многих стихах это тщательно завуалировано: мол, я — среди вас, я здесь. У Румянцева это понятно в насыщенной глаголами первой строфе: «собирались-сбегали-шли-стояли-курили». У Рыжего: «Мы к Первомаю замутили брагу, / я из канистры первым пригубил» («Я помню все, но многое забыл...»), «Составив парты, мы играем в карты» («По локти руки за чертой разлуки...»), «С качелей прыгали в листву» («Качели») и т. д. Есть ощущение, что Румянцеву стыдно за безволие себя самого прежних времен — пользуясь советской чеканной формулировкой, ему было страшно «отрываться от коллектива», поэтому он принимал правила подростковой игры — зачастую жестокие, во многом шедшие из советских дворов конца 1940–1950-х годов (дворы, в которых «измеряли удаль» их отцы). Да и «паскудная улыбка» героя — не что иное, как вина, смешанная со стыдом (только, конечно, чтобы это осознать, нужно повзрослеть). Можно отметить еще и тему «дружбы» (именно в кавычках, так как настоящей, по всей видимости, и не было) — уважение в «пацанской» среде достигалось внешними атрибутами, неким комплексом действий, негласных правил, отступление от которых могло серьезно пошатнуть авторитет того или иного подростка. И это уже не дружба в ее возвышенном понимании (ср. советские песни, кинофильмы 1930-х, 1960-1970-х годов), а процесс во многом мучительный, требующий подгонки под стандарты. Да и о какой дружбе может идти речь, если друзья — не больше, чем «пересмешники» (по Румянцеву), или собутыльники («нам взяли ноль восьмую алкаши...», «мы к Первомаю замутили брагу...») (по Рыжему).

Заставляет присмотреться и сходство лексики: встречающиеся в этом стихотворении Румянцева конструкции «свинчаткой под дых», «упражнялись до хрипа, до склоки, до первых кровей», «задачки решались путем перебранок» в той или иной степени перекликаются с поэтикой Рыжего. Но при всем этом каркас стихотворения Румянцева более чем самостоятелен и держится не только на нижеперечисленном, а на сходстве взрослеющих мальчиков с беспокойными, мечущимися, шумными зверями в клетках, в глазах которых (авторский вариант «в глазницах», скорее всего, несколько неточен, да и тавтология «глазеешь, как Бруно <...> в глазницы» не совсем удачна) лирический герой внезапно увидел смысл и ужас существования.

Обратимся к другому стихотворению Д. Румянцева — «На школьном дворе»:

*Мы собрались в адашевский кружок
и драный мяч до вечера гоняли
по кругу, между нами был зверок —
из младших нахаленок-желторот,*

*которому мы нас не отдавали,
как он ни бегал, чтобы знал урок,*

*чтоб возмужал. И в школе мастерства
футбольного мы продолжали жарить,
гоня его до одури. И жалость
сбежавшая с крыльца его сестра
несла сквозь слезы: «Ванька, ты ж устал!
Он вырастет, и ох, он вам покажет!»*

Он вырос и под Грозным сдал своих...

Главный смысл стихотворения, бесспорно, в последней строке — и она поражает: всем понятно, что речь идет о Чеченской войне — одной из самых трагических страниц отечественной истории. Казалось бы, ситуация достаточно естественна, особенно в школьных/дворовых/уличных отношениях: толпа и отщепенец, старшие и младший, хищники и жертва как следствие прочно укоренившейся в сознании советского (позже — российского) подростка дедовщины, принимающей различные формы. Мальчик, в нежном возрасте понявший, что так называемые «свои» никакие не свои, бессознательно пронес это через годы, и печальный итог стал своего рода закономерностью. Но где здесь поэт? Он опять растворил себя в «мы», повторяющемся в стихотворении три раза. Однако в заключительной строчке — не только констатация трагического факта, но и раскаяние автора, признание собственной вины — ведь он был одним из тех, кто травил и кто в итоге косвенно виновен. Вообще, мотив вины — причем довольно часто такой, которая не лежит на поверхности и понятна лишь самому автору, — в целом нередко встречается в творчестве Дмитрия Румянцева, а в стихотворениях Бориса Рыжего становится одним из определяющих: «Что погубит тебя, молодой? Вина. / Но вину свою береги» («Погадай мне, цыганка, на медный грош...»), «Во всем, во всем я, право, виноват, / пусть не испачкан братской кровью» (прямой намек на Чеченскую войну в стихотворении, написанном в 1996 году), «Боже правый, почему я не солдат, / с желтой пчелкой, легкой пулей незнаком» (тоже из стихотворения 1996 года) и пр. Немного отступая от главной темы, но развивая побочную, нельзя не привести в качестве примера два стихотворения — одно Дмитрия Румянцева, другое — Бориса Рыжего. Сначала — стихотворение Рыжего:

*Скажи мне сразу после снегопада —
мы живы или нас похоронили?
Нет, помолчи, мне только слов не надо
ни на земле, ни в небе, ни в могиле.
Мне дал Господь не розовое море,
не силы, чтоб с врагами поквитаться —
возможность плакать от чужого горя,
любя, чужому счастью улыбаться.
...В снежки играют мокрые солдаты —
*они одни, одни на целом свете...
Как снег чисты, как ангелы — крылаты,
ни в чем не виноваты, словно дети.**

Теперь — пример из Румянцева:

В ожидании приказа

В снежки играют мокрые солдаты
за КПП. Суббота. Увольненье.
Слепи снежок асбестовый мохнатый,
как будто головы усекновенье
Предтечи Иоанна. Вьюга кружит,
как Саломея — ворохом слоеным.
И кто-то этим утром занедужит,
но кто-то холод ордена заслужит,
когда в огонь отправят батальоны.

Ну а пока евангельская притча
играется предтечею сраженья.
Кровь снегорей и золото синичье.
И снежный атеизм и вера птичья.
И до приказа, как до воскресенья,
две тыщи лет.

История могла распорядиться так, что на месте тех солдат оказались бы и оба поэта, немало ровесников которых как раз и были «отправлены в огонь». Быть может, они и собирались «в адашевский кружок» с героем Румянцева или они вместе с героем Рыжего «крутили Токарева Вилли / и матерились на ветру». Стихотворение Бориса Рыжего, написанное в 1996 году, скорее всего, знакомо Дмитрию Румянцеву — это недвусмысленно доказывает первая строка его стихотворения, прямая цитата. Но оба стихотворения при этом — благодарность Господу за то, что он дал авторам жить там, где есть мир, и за возможность быть собой, но в то же время это — плач по невинно убиенным и опять-таки — вина вследствие того, что ты (автор) — не из их числа, тебя миновала чаша сия и тебе разрешено жить дальше.

Возвращаясь к основной теме нашей статьи, хочется выделить еще одну особенность, сблизившую двух авторов: взаимосвязь «высокое-низкое» в рамках школьной любви. Притяжение лирического героя-хулигана и возвышенной девочки можно проследить в нескольких стихотворениях обоих авторов. У Рыжего таких стихотворений больше, чем у Румянцева: бесспорно, это «Много было всего, музыки было много...», «Ты почему-то покраснела...», «Померкли очи голубые...», «Ни разу не заглянула ни...». У Румянцева — двестише «Тема с вариациями».

Важно отметить, что отличие лирического героя Рыжего от героя Румянцева в том, что у первого — это «я», а у второго — «он». Эта особенность, скорее всего, уходит корнями в биографии самих поэтов: известно, что Борис Рыжий, несмотря на его мастерство мистификаций, в среднем и старшем школьном возрасте старался слиться с тем образом хулигана, о котором напишет впоследствии.

Вообще, тема «хулигана и недотроги», которую мастерски прочувствовали и описали оба поэта, была достаточно популярной в период их становления — в 1990-е годы.

Притяжение чистого и порочного, бандитского и наивного, благородного и уголовного стало одним из символов девяностых годов прошлого века: эту мысль подтверждают известная песня Сергея Крылова «Дева-девочка», песни Михаила Круга (в частности, «Девочка-пай»), творчество рэп-исполнителей, всевозможные сериальные «перипетии» о романах «новых русских» и непорочных деву-

шек (любовь главных героев сериала «Бригада», действие которого происходит в конце 1980-х — 1990-е годы) и т. д. Если популярная музыка, кинофильм или даже реальная ситуация из жизни могла допустить «счастливый итог» (напомним, что крайне популярный в эпоху «девяностых» Сергей Крылов пел о том, как «соединились детские сердца»), то у Рыжего и Румянцева (в особенности у второго) присутствуют трагические моменты. Если в трамвае Рыжего «хулиган с недотрогой ехали в никуда» («Много было всего, музыки было много...»), то любящий отличницу Марину безымянный гопник, рыдавший над гробом своей возлюбленной, сам погибает: «Кто оплачет его? — подсудимого, урку, бродягу, что зарезан морозом в Сочельник за школьным оврагом, / так, как страшно над гробом Марининым в год выпускной / плакал гопник, упялясь в октябрь, как медаль, золотой». Если лирический герой Рыжего, обращаясь к возлюбленной, отбитой у «Гриши Штопорова, у / комсорга школы, блин» констатирует тот факт, что она «думала, что я боксер, / а я поэт, поэт», то хулигану Румянцева, который «фарцевал и развратничал, дрался, шакалил», любить было дозволено только на расстоянии — обреченно и трагически.

Но, несмотря на некую схожесть реальных (рождение в один год, проживание в провинциальных гигантах индустрии с их известными окраинами, взросление в эпоху очередного «смутного времени») и творческих (рассмотренная выше «школьная» тема, некое сходство лирических героев и их мировосприятия, схожесть лексики и поэтического словаря) биографий, стоит обратить особое внимание на несколько фактов.

В данной статье невозможно рассмотреть все или хотя бы большую часть стихотворений Рыжего, так или иначе связанных с интересующей нас темой, поэтому пришлось коснуться ее лишь частично. Следовательно, не были затронуты важные стихотворения этого автора (о рано ушедшей из жизни Эле, возлюбленной Рыжего, его однокласснице, о друге Сергее Лузине и пр.). Скорее всего, многое было мифологизировано: не случившееся в жизни случилось в стихах, однако это не умаляет их ценности. У Румянцева лирический герой-школьник, на первый взгляд, плотно «склеен» с друзьями-товарищами, с толпой, он только лишь один из тех, кто мог написать на доске «Улыбок тебе, дед Макал!» («Палиндром 1991 года, или Новый 2002») или «воспитывать» желторотого мальчика на футбольной площадке.

Кстати, отсылка к конкретной дате — нечасто встречающаяся черта в поэзии Дмитрия Румянцева. Борис Рыжий в этом плане больше «завязал» так называемых «узелков на память»: известны как прямые упоминания о конкретном годе или годах («Восьмидесятый год. СССР», «Восьмидесятые, усатые...»), так и стихотворения, названные «1984», «1985». Кроме того, хронологию можно восстановить по косвенным моментам — возрасту героя («Двенадцать лет. Штаны вельвет», «что полюбил в пятнадцать лет...», «Тринадцать лет. Стою на ринге...»), но это касается личного, а не государственного и не содержит «познавательной» информации о времени, хотя мы можем понять, что это — 1986, 1987, 1989 годы и т. д.

У Бориса Рыжего, как уже отмечалось выше, тема школьных лет, взросления, поиска себя — одна из основных: поэт к ней обращался из года в год, дополняя и развивая ее. У Дмитрия Румянцева обращение к ней было достаточно редким — известны лишь несколько стихотворений, включенных в сборник «Нобелевский тупик» (стихотворения 2006–2011 годов), однако и они дают, говоря языком следователей-криминалистов, необходимые интересующие нас сведения.

Вполне вероятно, что Дмитрий Румянцев — автор, развивающийся по классическому для многих нынешних отечественных поэтов сценарию: постепенное «наращивание» силы и обретение самостоятельного голоса, сдвинувшаяся гра-

ница творческой зрелости (в отличие от многих поэтов Серебряного века, советских авторов 1920–1930 годов, которые уже к двадцати — двадцати пяти годам успели столько (молниеносное взросление, по типу Артюра Рембо), сколько не сделали многие сегодняшние сорокалетние), своего рода «стайерская» манера движения вперед — будет еще возвращаться к рассматриваемой в этой статье теме, тем более что в последнее десятилетие в его поэзии существенно прибавилось «социальной» составляющей. Упомянутые выше Гандлевский, Чухонцев, Гандельсман сделали огромный временной промежуток между собственным обучением в школе и написанием стихотворений, стихотворений-реверансов в прошлое воспоминаний (самый яркий пример, пожалуй — сборник В. Гандельсмана «Школьный вальс», вышедший, когда автору было за пятьдесят). В отличие от них, Рыжий многие стихи, подпадающие под данную тематику, писал, можно сказать, «по горячим следам», сократив дистанцию «событие (реальное или могущее произойти) — написание стихотворения» если не до минимума, то довольно существенно. Остается только предположить, обращался ли бы поэт к этой теме и далее, не прервись его жизнь так рано. Но и следует повторить, что сохранившиеся несколько десятков «школьных» стихотворений — это уже весомая часть в творческом наследии в целом.

Борис РЫЖИЙ

Элегия Эле

Как-то школьной осенью печальной,
от которой шел мороз по коже,
наши взгляды встретились случайно —
ты была на ангела похожа.
Комсомольские бурлили массы,
в гаражах курили пионеры.
Мы в одном должны учиться классе,
собрались на встречу в школьном сквере.

В белой блузке, с личиком ребенка,
слушала ты речи педагога.
Никого не слушал, думал только —
милый ангел, что в тебе земного.
Миг спустя, любуясь башмаками,
мог ли ведать, что смотрел
моими школьными и синими глазами
Бог — в твои небесно-голубые.

Знал ли — не пройдет четыре года,
я приеду с практики на лето,
позвонит мне кто-нибудь — всего-то
больше нет тебя, и все на этом.
Подойти к окну. И что увижу? —
только то, что мир не изменился
от Москвы — как в песенке — и ближе.
Все живут. Никто не застрелился.

И победно небеса застыли.
По стене сползти на пол бетонный,
чтоб он вбил навеки в сей затылок
память, ударяя монотонно.
Ты была на ангела похожа —
как ты умерла на самом деле?
— Эля! — восклицаю я. — О Боже!
В потолок смотрю и плачу, Эля.

Трамвайный романс

В стране гуманных контролеров
я жил — печальный безбилетник.
И, никого не покидая,
стихи Ивана́нова любил.
Любил пустоты коридоров,
зимой ходил в ботинках летних.
В аду искал приметы рая
и, веря, крестик не носил.

Я ездил на втором и пятом*,
скажи — на первом и последнем,
глядел на траурных красоток,
выдумывая имена.
Когда меня ругали матом —
каким-нибудь нахалом вредным,
я был до омерзенья кроток,
и думал — благо, не война.

И, стоя над большой рекою
в прожилках дегтя и мазута,
я видел только небо в звездах
и, вероятно, умирал.
Со лба стирая пот рукою,
я век укладывал в минуту.
Родной страны вдыхая воздух,
стыдясь, я чувствовал — украл.

Новое ретро

О нет, я не молчу, когда молчит народ,
я слышу ангельские стоны,
Я вижу, Боже мой, на бойню — словно скот —
сынов увозят эшелоны.

* Второй и пятый — трамвайные маршруты в Екатеринбурге, связывающие рабочие окраины города с центром.

Зачем они? Куда? И что у них в руках?
И в душах что? И кто в ответе?
Я верую в добро, но вижу только страх
и боль на белом свете.
И кто в ответе? Тот уральский истукан?
С него и Суд не спросит Страшный —
не правда ли смешно, вдруг в ад пойдет баран,
к тому ж и шерстию неважный.
Россия, Боже мой, к чему ее трава,
зачем нужны ее березы?
Зачем такая ширь? О, бедные слова,
неиссякаемые слезы.
Ты хочешь крови? Что ж, убей таких, как я,
пускай земля побагровеет.
...Господь, но пусть глупцов великая семья
живет — умнеет и добреет.

«Мальчиком с уроков убегу»

...Мальчиком с уроков убегу,
потому что больше не могу
слушать звонкий бред учителей.
И слоняюсь вдоль пустых аллей,
на сырой скамеечке сижу —
и на небо синее гляжу.
И плывут по небу корабли,
потому что это край земли.
...И секундной стрелочкой звезда
направляет лучик свой туда,
где на кромке сердца моего,
кроме боли, нету ничего.



...в эти руки бы надежный автомат,
в эту глотку бы спиртяги с матюком.
Боже правый, почему я не солдат,
с желтой пчелкой, легкой пулей незнаком?

Представляю, как жужжала бы она,
как летела бы навывлет через грудь.
Как бы плакала великая страна, —
провожала сквозь себя в последний путь.

Ну какую должен песню я сложить,
чтобы ты меня однажды отпустил

просто гибнуть до последнего и жить —
от стихов твоих, от звезд твоих, могил?



Еще вполне сопливым мальчиком
я понял с тихим сожаленьем,
что мне не справится с задачником,
делением и умноженьем,
что, пусть так хвалят, мне не нравится
родимый город многожильный,
что мама вовсе не красавица
и что отец — не самый сильный,
что я, увы, не стану летчиком,
разведчиком и космонавтом,
каким-нибудь шахтопроходчиком,
а буду вечно виноватым,
что никогда не справлюсь с ужином,
что гири тяжелей котлета,
что вряд ли стоит братьям плюшевым
тайком рассказывать все это,
что это все однажды выльется
в простые формулы, тем паче,
что утешать никто не кинется,
что и не может быть иначе.

Дмитрий РУМЯНЦЕВ

бог из машины

Технический прогресс не трогает души:
она все та же, и в ней до сих пор как будто
холодная заря, пустые камыши
промзоны, дикий пляж и темный блеск мазута.

Я — человек, но я не Божий человек,
пока я до души — из первородной глины.
Я — голем, и слежу за богом из машины,
среди машинерий коротая век.

И до сих пор порой мне, глупому, милей
тьма суеверий: черт и чорт-психоанализ.
Но Ты во лбу перстом однажды ставишь Алеф,
и я — не я, а древний иудей

до сердца наг, молюсь об участи святой
на тихом берегу святого Иордана,
куда пришел Иисус, как Deus ex machina,
в одно мгновение поменявший все.

картинка с выставки

Миришь-миришь и больше не дерись! Крестьянская ли Брейгелева драка
запомнит нас и опрокинет жизнь. А певчая судьба? — она двояка.
Идем на деревенскую тусу, мы, городские гопники-гуляки.
На спину б — по бубновому тузу. И по повестке из военкомата.
В руках вино и девки в голове, и бабы во дворах визжат со страху.
Ну, что сказать? Так было при царе. Останется и впредь. Мою рубаху,
рубака друг, с жилеткой для нытья не путай в этой дарвиновской свалке:
не знаю я, чем кончится возня у речки, вот и сельский Джек затыкал.
Кровавая удолбана луна, — торчит! Ее и воспоеет ваш Брейгель.
Я вас любил, дворовая шпана. И каждый третий пьян или зарезан.



Русский дворник, читавший Страбона
вечерами, ну что тебе снится
в час, когда на щетину газона
выпал снег? И закрыта страница

«Географии». Слышал ты, юный
скотник где-то во Франции, утром,
за прочтением Юнга ли, Юма
был туристкой российской застукан?

Что ж? Вас сгонят, обреют, погонят
на войну, если бойня случится?
Или писарем в жарком вагоне
у штабных вам дано отсидеться.

И за этим учились и жили? —
двор мели и скотину клеймили?
Чтобы слать по стране похоронки,
утонуть, как в окопе, воронке:

в формулярах, в военной цифири.
Что, такими вас мамы растили?
Что, за этим за каждой строкою
открывалось шоссе за рекою,
уводящее в грезы и дали,
словно в стих без *морали*?

ПОЭЗИЯ

Говорили: «Духовность!» А что это было, скажи:
если не одержимость, когда нежелание власти
над умами? Замыта блевота на старом паласе
после party с английским славистом. Опять миражи
заполняют углы, словно тени Рембрандтовы. Тщась
достучаться до неба, дочь в марте шагнула с балкона.
А они: Капернаум, смиренье, этюды Шопена
с тонким призывком скорби. А тут бы совсем замолчать,
ополчиться на Слово, вытравливать звуки в себе...
Но опять под дугой *заунывно звенит колокольчик*
вдохновения (он требует жертвы, как только захочет),
и с гримасой отчаянья пишет посланья к Тебе
безутешная мать. И находит молитву отец —
ту, приличную случаю. И примиряются с болью.
И стремление жить торжествует. Но хватит, довольно
о поэзии сказано.
Дальше — нембга.

зоосад

Свалялась шерсть.
Бьёт в ноздри запах страха.
И злая некрасивая лиса
слоняется, пытается кусать
остатки пуха, и пера, и праха.
А я стою, не отвожу лица,
но за рукав призывно тянет кроха,
и говорит мне: — Папа, что — ей плохо?

Попробуй тут смолчать. Соврать. Уйти.
Заметит все. А вертится, как угорь.
Я сам ребенком загнан в темный угол:
«Ослабь немного хватку. Отпусти!»
Нет, смотрит испытующе, молчит.
И на затылке хохолок торчит.

Привет, старуха-совесть! Что еще
предъявишь мне?
В мой взрослый мир и космос
ты, маленький, являешься с вопросом.
Я не прощен. И лис не отомщен.
И то, что в нас доселе было — злобу
вдруг на себя направили мы оба.

И я, и лис затравленный, тебе
что интересней?..

Смрад и визг металла —
вот зоосад. Но, чу: звезда упала?
В грудную клетку? Мне не по себе!
Там зверь: там страсть, там страх.
И страха кроме,
что ж ты осветишь,
если сын — детеныш?!

на Крещение

Капель и солнце. Все-то лужи — всклянй.
Там — воробей, там чистит перья голубь.
Ты в оттепель залезешь в Иордань,
и что с того, что это просто — прорубь.

А над водой в мороз растет дымок,
три дни висит безвидный дух. Обидно!
Пустейший пар. Но даль при слове Бог
становится другой. Неочевидной.

